

ЗНАМЯ ЖИЗНИ

Главы из нового романа

Писатель Семён Бабаевский, автор широко известных книг «Кавалер Золотой Звезды» и «Свет над землёй», пишет роман «Знамя жизни», которым будет завершена трилогия о Сергее Тутаринове и Семёне Гончаренко.

Между романами «Свет над землёй» и «Знамя жизни» прошло пять лет. Подросли сыновья Тутаринова — Илья и Тимофей. Умерла Василиса Ниловна — мать Сергея. Ирина вернулась с двухгодичных курсов по переподготовке работников сельских электростанций. Сергей Тутаринов все эти годы работал секретарём Роценского райкома партии.

Новый роман начинается с того, что Сергея Тутаринова партия посылает секретарём Журавского райкома на Ставрополье, а Семёна Гончаренко — директором МТС в селе Чёрный лес. Помимо Сергея и Семёна, читатели снова встретятся с известными им героями: это Николай Петрович Кондратьев, старик Тутаринов, Татьяна Нецветова, Ирина, Стефан Петрович Рагулин, Савва Остроухов. Автор знакомит нас и с новыми героями-ставропольцами: это Марина Николаевна Самойлова — председатель Журавского райисполкома и её второй муж Зиновий Еюкин, выдающий себя за драматурга, сторонника теории бесконфликтной драматургии; Иван Афанасьевич Книга — директор Сухо-Буйволинской МТС и Луша Самойлова — агроном, возлюбленная Книги; Кирилл Михайлович Дедюхин — второй секретарь райкома и Алексей Иванович Кумшаков — заведующий райотделом сельского хозяйства; Никита Михайлович Лысаков и Павел Никифорович Низовцев — председатели колхозов, и многие другие.

Осенняя ночь — мокрая и холодная. Как в дыму, лежала Журавка, вся укрытая густым, влажным туманом. «Ну вот, совсем незаметно и осень подкралась», — думал Сергей, стоя у раскрытого окна. В душный кабинет, в котором только что закончилось заседание, врвалась степная свежесть. На улице — негромкие голоса, стук колёс, сердитое фырканье моторов, которые остыли и плохо заводились, — разъезжались по домам те, кто был приглашён на заседание бюро. В том месте, где ровно гудел мотор, две струи яркого света упирались в туман, как в белую стену. Когда же машина двинулась вперёд, как бы прощупывая фарами улицу и раздвигая её, белая стена дрогнула, качнулась и тоже стала удаляться.

Сергей подошёл к столу, раскрыл папку и, сутулясь, долго стоял молча — не то читал, не то что-то обдумывал. В папке — исписанные на машинке листы, в них — цифры, цифры, они стояли и колонками и строчками. Это была двухнедельная работа агрономов райсельхозотдела и инженеров МТС, которым было поручено установить, какое минимальное количество и каких именно машин потребуется для введения комплексной механизации.

В кабинете остались только Самойлова, Дедюхин и Кумшаков. Сергей мысленно перечитывал названия машин, мял в пальцах клоч жёсткого чуба, и одна мысль не покидала его — слишком много требовалось моторов и машин. «А что если не сможем получить и половину того, что мы хотим», — думал он, ещё больше сутулясь. — Кондратьев посмотрит эти выкладки, усмехнётся и скажет: эх, журавцы, журавцы, похвалить бы вас надо за размах, а похвалить не могу — у государства забота не только о

журавцах... А как же без машин?..» И Сергей сел и начал что-то писать, подчёркивать и ставить одному ему понятные пометки.

— Сергей Тимофеевич, о чём так задумался? — участливо спросил Дедюхин, взглянув на Самойлову и Кумшакова, которые попрежнему, разговаривая, сидели на диване.— Неужели эта папка навевает грусть?

— Нет, не навевает.— Сергей закрыл папку и устало расправил плечи.— Боюсь — лишнее просим. Сдаётся мне, специалисты переусердствовали. И мне хотелось бы...

Дедюхин подошёл к столу и не дал договорить.

— Какие могут быть сомнения, Сергей?! — сказал он громко.— Я глубоко верю — нас поддержат. Ты поезжай, как мы и решили, к Кондратьеву и расскажи ему не на бумаге, а на словах, по-дружески, и нет же никаких, просто решительно никаких сомнений... Николай Петрович непременно одобрит наши намётки, а это — главное.

«Ну и Кирилл, ну и бестия,— думал Кумшаков, тоже подходя к столу и на ходу подтягивая узкие голенища.— Или ты хитёр, как бес, или — дурак. Только вчера же доказывал мне, что в крае и смотреть не станут на эти цифры, никаких машин не дадут, а сегодня — «я глубоко верю». Не пойму твою душу...»

— Поедем к Кондратьеву вместе,— сказала Самойлова. — Я тебе помогу, Сергей Тимофеевич...

— Даже очень хорошо, — поддержал Дедюхин,— С женщиной в таком деле...

— Я думаю, в Рощенскую лучше поехать, когда вернёмся от Кондратьева. — Самойлова встала и, улыбаясь, по-женски слабо развела руками, — Может, ещё придётся отложить и заседание сессии райсовета и вызов рощенцам.

Сергей подошёл к окну. На улице было тихо, люди уже разъехались.

— Нет, Марина Николаевна, никаких изменений делать не будем,— Сергей закрыл окно и приоткрыл форточку, чувствуя, как плечи и шею холодит ветерок.— Заседание сессии объявлено, о приезде рощенцев знают во всём районе...

— У тебя же есть сомнение.— Самойлова задумалась.— Я тоже побаиваюсь, не похвалит нас Кондратьев... Вот мы съездим к нему, а тогда уже...

— Что — тогда? Отступить? Я думаю, что этого делать нельзя... Как по-твоему, Кирилл Михайлович?

— Безусловно!

— Поехать ты со мной можешь, — сказал. Сергей, подходя к Самойловой, — но к рощенцам тоже поедешь, и заседание сессии райсовета состоится в назначенный день... Так будет лучше!

День же открытия сессии районного Совета — 6 октября — был уже близок, и весть о том, что на сессию выносятся проект договора о социалистическом соревновании с рощенцами, давно облетела все хутора и сёла и была главным событием в жизни района в эти дни.

В сёлах, как это часто случается, возникали разного рода разговоры и толки о том, почему выбор пал именно на рощенцев — район передовой и в крае известный — с ним же соревноваться нелегко. Тут одни утверждали, что новый секретарь райкома хочет, чтобы рощенцы, его старые друзья, помогли бы вывести в передовые Журавский район и тем ещё больше укрепили бы авторитет своего Кавалера Золотой Звезды; что якобы по этой причине самый близкий друг Сергея Тутаринова — Семён Гончаренко был назначен директором Чернолесской МТС. Другие, напротив, говорили, что Тутаринов здесь не при чём, что инициатива исходит от сухо-буйволинцев и что первая назвала рощенцев Марина Николаевна Самойлова; что Тутаринов, узнавши об этом, загрустил, поехал в Сухую Буйволу и сказал Самойловой: «Ну, Марина Николаевна, наделала ты хлопот — трудно нам будет победить рощенцев. И если такое большое дело исходит от тебя, занимай пост председателя райисполкома и давай вместе подымать наших людей...»

Говорилось и о том, что на сессии будет два докладчика — Иван Афанасьевич Книга и Тихон Николаевич Михайличенко; что Иван Книга не выходит из кабинета и пишет доклад, а Михайличенко три дня ездил с комиссией землемеров по полям и вымерял те земельные участки, которые должны быть засажены садами. Говорилось и о том, что новый председатель райисполкома Марина Николаевна Самойлова поедет в Рощенскую приглашать гостей на сессию и что с рощенской делегацией приедет и отец Сергея Тутаринова — по слухам, казак уже старый, в делах рассудительный и в суждениях строгий.

Во всех этих оживлённых разговорах и толках, разумеется, рядом с досужим вымыслом, соседствовала и настоящая правда. К ней следует отнести и тот факт, что Иван Книга снова обзавёлся кабинетом и усиленно, день и ночь готовил доклад, приводя множество фактов и примеров, какую выгоду получают колхозы после введения комплексной механизации; что бюро райкома поручило Самойловой выехать в Рощенскую и лично пригласить гостей-делегатов, при этом предварительно, дней за пять-шесть, послать им проект договора; и, наконец, что в Журавку должен был пожаловать Тимофей Ильич Тутаринов... Однако те, кто об этом говорил, ещё не знали, что старик Тутаринов не стал дожидаться, когда его включат в состав делегации, а выехал в Журавку раньше и вот уже второй день гостил у сына и забавлялся с внучатами.

За окном глухо и часто загремели колёса, потом стук их пропал, и стало тихо,— видимо, тачанка остановилась у двора. Тогда Марфа Игнатьевна, уже лежавшая в постели, насторожённо приподняла голову и, опершись локтём о подушку, прислушалась.

Её и удивляло и пугало то, что и в прошлую и даже в позапрошлую ночь точно так же по улице стучали колёса и так же неожиданно они умолкали возле дома... «Не иначе Ирина и опять на тачанке,— с тревогой подумала Марфа Игнатьевна.— Кто же её так старательно провожает? Не Крамарёв ли дурачится? »

Вчера, в середине дня, директор гидростанции Крамарёв заехал как будто по делу к Сергею. Сергея дома не было — и это его несколько не огорчило. Казалось бы, нужно было уезжать. А он сел к столу, попросил чаю и разговаривал как-то заметно ласково, даже любезно — как вспомнила об этом Марфа Игнатьевна, так уж и не могла лежать. Поспешно встала, зажгла свет, накинула на плечи шаль и, путаясь ногами в ночной сорочке, открыла дверь. Хлынула сырость, туман, чуя тепло в доме, ключьями рвался в дверь, а на улице — тьма, не видно ни лошадей, ни тачанки, ни тех, кто на ней сидел... Хлопнула калитка, точно её ударило ветром, и в темноте снова застучали колёса, — теперь глухой их звук всё уменьшался и уменьшался.

В дом вошла Ирина. Посмотрела на мать сонно-прищуренными, грустными глазами.

— Мама, Серёжа дома?

— Припозднился, как и ты. Наверно, заседают.

— И не звонил?

— Не слыхала. Чай ещё горячий... Подавать?

Ирина кивнула головой, устало подняла руки, развязала белый, из козьего пуха, платок и бросила его на диван — в шелковистых ворсинках водяной пылью блестели испаринки тумана. Тут же на спинку стула повесила жакет, снизу и на рукавах отороченный узкой полоской серого каракуля. Постояла перед зеркалом — невысокая, статная, с чёрными блестящими глазами. Опять подняла руки, глубоко вздохнула, поправила волосы и нехотя, насильно улыбнулась.

— Тимофей Ильич отдыхают?

— Весь вечер с внучатами шумел, — сказала Марфа Игнатъевна, ставя на стол чайник и стакан в подстаканнике, — Недавно угомонились и малый и старый... Не нарадуется Тимофей Ильич, внуков казачатами называет.

— Мама, а Серёжин стакан?

— Будешь ждать?

— Он же вот-вот явится.

Марфа Игнатъевна принесла ещё один стакан, невесело покосилась на дочь и, глядя в сторону, сказала:

— Кто это гремит каждую ночь под нашими окнами?

— Никита Самсонович подвозил.

— Крамарёв? Я так и думала... Не в извозчики, случаем, подрядился?

— Туман же, темно, идти трудно...

— Послушай, Ирина, туман туманом, а ты женщина замужня.

— Так что ж из того? — Ирина улыбнулась, но опять нехотя, через силу. — Что я замужня — это не секрет.

— А раз не секрет, так и не позволяй себя подвозить... у тебя есть свой подвозчик — его и знай. А то подвезёт раз, второй, а потом в глаза станет таким селезнем засматривать... Этот Крамарёв — здоровило, он-то, вижу, себе на уме...

— К чему всё это, мама? Я же не маленькая, и мне просто смешно... Ложились бы вы спать, а я подожду Сергея.

— Смешного тут, дочка, мало... Вчера пожаловал ко мне тот извозчик. Конечно, говорит, что не ко мне, а к Сергею...

— И верно. К Сергею у него было дело — жалоба на сухо-буйволинцев. у них же сечение проводов такое, что мы не можем подавать энергию... Нагрузка никуда не годится.

— Не знаю, дочка, сечение или присечение, а только почему твой любезный начальник как попросил чаю, так и начал заводить ласковые речи... Вздыхал и на жизнь жаловался.— Марфа Игнатъевна умолкла, взяла стакан и начала вытирать полотенцем, делая это так поспешно и старательно, точно говоря: я бы ушла спать и не стала бы говорить тебе о Крамарёве, да вот надо же вытереть стакан.— Я, говорит, Марфа Игнатъевна, сильно несчастный в личной жизни... Женился, да ошибочно... Известно дело — все мужчины мучениками прикидываются, когда им в этом есть выгода...

— А я-то тут при чём?

— А при том, что Крамарёв увидел на стенке твою карточку — вот эту, ещё девичью... Долго смотрел на неё такими... туманными глазами, а потом и говорит: счастливый Сергей Тимофеевич, мне бы такую жену...

— Значит, смотрел туманными глазами? — смеясь, спросила Ирина. — А какие же это — туманные глаза? Страшные? И скажете такое, мама... Идите, идите спать... Уже поздно.

Марфа Игнатъевна поставила стакан, ушла в свою комнату, оставила дверь открытой и ещё долго бурчала, точно с кем-то разговаривая вполголоса. Ирина тихонько, как бы случайно, прикрыла дверь, потом сняла со стенки лохматое полотенце и старательно укутала им горячий чайник,— пусть так и стоит до прихода Сергея. Сама села у окна и, поставив локти на подоконник, с грустью смотрела в матовочёрное стекло, как в зеркало. С наружной стороны стекло было как бы залито блестящим тёмным лаком, и в глубине его Ирина видела свою плохо причёсанную голову, руки, подбородок, лежавший в ладонях, большие как будто чужие глаза...

Ирина думала о том, что вот уже пошёл второй месяц, как она с детьми приехала в Журавку, а трудно, оказывается, привыкнуть и к новому месту, и к новым людям. Кажется, и работа у неё по душе, и директор гидростанции ценит её, даже даёт лошадей, чтобы ездить в Журавку, а на сердце беспокойно. Ирина хорошо понимала, что её приезд в это ставропольское село связан с той необходимостью, которая заставила Сергея

покинуть родное верховье Кубани и уехать в Журавку,— не могла же Ирина с детьми оставаться в Рощенской, когда муж — в Журавке. Казалось, такую азбучную истину легко было не только понять, но и не думать уже ни о Рощенской, ни об Усть-Невинской, а Ирина не могла. Она терялась в догадках: почему ей трудно было привыкнуть к Журавке? Может, причиной было то, что здесь, в Журавке, ей сказали, что Сергей был ночью на мосту с какой-то Лушей, — впервые в жизни Ирина почувствовала, как горька и как мучительна — нет, не ревность, а женская обида на мужа.

А случилось это так. Мария Филипповна Дедюхина и Оленька Кумшакова сочли своим долгом сразу же познакомиться с женой нового секретаря райкома и не преминули явиться в дом Тутариновых. Часа два они говорили о том, о сём, о чём обычно говорят женщины, когда они ещё не знакомы близко. Мария Филипповна первая перешла на «ты» и, ласково глядя на Ирину, покровительственно сказала:

— Милая, Ирина Ивановна, или позволь проще — Иринушка! Мы с Оленькой так рады, что ты приехала в Журавку, так рады... Если тебе нужна какая помощь или дружеский совет — пожалуйста, мы с Оленькой, как старожилы здешние, всегда охотно тебе поможем...

Прощаясь, новые подруги не утерпели и под строжайшим секретом сообщили Ирине о том, кого видел шофёр «Заготзерно» ночью на журавском мосту... Ирина так быстро и так сильно покраснела, точно её кто-то неожиданно и грубо ударил по щекам. Трудно ей было промолчать. Она сжала за спиной кулаки, до крови закусил губу и ничего не сказала... Мария Филипповна, пожимая руку Ирине, подумала: «Закипела... Ничего, дорогая, крепись...»

Оленька вернулась от калитки и, заговорщически блестя постоянно смеющимися глазами, сказала на ухо: «Мужу — ни, ни, ни...» Насторожённо подняла красивую бровь, помолчала и ушла. И Оленька с её смеющимися глазами, и Мария Филипповна с её ласковым голосом стали так противны, а сказанные шёпотом слова: «Мужу — ни, ни, ни...» так обидны, что у Ирины по щекам покатались две крупные слезы, а в груди что-то сбилось в твёрдый комок, который ныл и ныл, болел и болел...

Хотя в тот же вечер, даже не подумав о предупреждении Оленьки, Ирина подробно рассказала Сергею о приходе женщин и о том, что они поведали ей под строжайшим секретом; хотя по весёлым глазам, по улыбающемуся лицу мужа она видела, что всё это — сплетни и что забыть о них нужно теперь же и никогда уже не вспоминать; хотя она, повеселев и успокоившись, смеялась, когда узнала от мужа, и кто такая Луша и как Сергей пришёл вечером к рисоводу Михайличенко, а потом с его племянницей ночью возвращался в Журавку,— и всё же и после этого крохотный кусочек той же ноющей боли так и застрял где-то в груди, да и не только застрял, а как будто что-то там прожёт, — так горящая искорка, падая на шёлковую ткань, оставляет на ней тёмный след...

Ирина видела в чёрном стекле свою задумчиво склонённую на руки голову и думала о том, что всему виной, очевидно, Журавка: жили бы они в Рощенской и не было бы этих глупых сплетен, — в Рощенской же нет ни Луши, ни поймы за рекой, ни моста... И ей казалось, что приезд в Журавку был причиной того, что она стала замечать и в себе и в муже такие перемены, которых раньше не замечала. Замечал их и Сергей. Он как-то сказал:

— Ирина, и почему ты стала какая-то... не пойму!

— Другая?

— Нет, не другая, та самая... А вот что-то пришло к тебе такое... Или тут всему виной твоя коса — всё же зря ты её отрезала... После курсов ты приехала с завивкой да ещё не в Рощенскую, а в Журавку... Я уже думал: если бы вернулась в Рощенскую, а то сразу в Журавку и без косы.

Ирина смеялась и, краснея, сквозь смех, говорила, что так, с отрезанной косой, ей лучше, красивее, и Сергей, виновато улыбаясь, кивал головой и соглашался, что новая причёска Ирине ещё больше к лицу.

— А всё ж таки, что-то такое есть, а вот что — не пойму,— сказал он

...Всматриваясь в тёмное стекло и прислушиваясь к ночным звукам, Ирина думала: «Нет, Серёжа, не коса моя тут повинна, а что-то такое, чего ещё и ты, и я не видим и не понимаем... У тебя же нет этой новой причёски? Всё у тебя будто по-старому, а ведь и ты не похож на того Серёжу, которого я встретила на полустанке и полюбила. А жду я тебя с прежним волнением, и знаю — ты придёшь всё такой же хороший, мой любимый, а посмотрю на тебя и опять подумаю: нет, не тот, не тот Серёжа...»

Стукнула калитка. Ирина вздрогнула — её напряжённый слух уловил не только характерный звук, но и знакомые шаги: по одной ей известным приметам она уже знала, что в калитку вошёл Сергей, распахнула дверь и, не чуя ног, побежала в сырую темноту, расставив, как слепая, руки...

* * *

В доме ещё все спали, когда Тимофей Ильич встал, потянулся, чувствуя тупую, привычную боль в ногах и пояснице, и посмотрел в окно. На востоке занималась заря — далёкий розовый её отблеск падал на стёкла и освещал стоявшие рядом детские кровати. Тимофей Ильич посмотрел на внучат, прикрыл Илюшу одеялом — оно было скомкано ногами; у Тимоши поправил свисавшую чуть не до пола подушку, легонько приподнял внука, ощущая на ладонях тепло детского тела. «И во сне беспокойные,— думал Тимофей Ильич, — Характером в деда... Помню, мать говорила, что в детские годы и я во сне был таким разбишакой...»

Оделся и вышел во двор, вынул из кармана пиджака влажный, пропитанный застаревшей табачной пылью кисет. Тумана как будто и не было — и когда же он успел подняться и улететь? Небо чистое, высокое и холодное. Тимофей Ильич свернул цыгарку и вышел за калитку: по крикливым петушиным спевкам, по сонной перебранке собак где-то на краю села, по курившимся дымарям было видно, что Журавка уже проснулась. Тимофей Ильич смотрел на косматые столбы дыма и радовался: оказывается, и в Журавке трубы дымят по утрам так же, как и в Усть-Невинской, и так же, как в Усть-Невинской, то серые, то буро-чёрные столбы наклоняются к востоку, как бы вытягиваются навстречу рассвету, уже пламеневшему в просторной степи за Егорлыком.

Тимофей Ильич закурил, постоял у калитки и снова вернулся во двор. Хотел что-нибудь сделать по хозяйству, но не нашёл ни граблей, ни метлы, ни топора. «Нету у сына таких инструментов»,— подумал он и сел на нижнюю ступеньку у входа в дом. Задумался. Думка у Тимофея Ильича была старая и назойливая: где, у кого из детей доживать век? Впервые он подумал об этом в тот пасмурный день, когда шёл за гробом Ниловны... Но тогда можно было и подождать с решением — Сергей-то был в Рощенской, считай — дома, Анфиса с зятем жили с ним и уезжать из Усть-Невинской не собирались... Теперь же сын с невесткой переехали в Журавку, а зять с дочерью — ещё дальше, в какой-то Чёрный лес — село, которого Тимофей Ильич ещё не видал и издали, — нужно было раз и навсегда сказать: куда, в какую сторону приклонить старую голову. Жить же к себе его приглашали и Сергей с Ириной и Семён с Анфисой. Можно было бы приютиться и у зятя с дочерью, у них тоже есть внучата — девочка Васютка и мальчики Сергей и Никита. Правда, фамилия у детей не Тутариновы, а Гончаренковы, а всё ж таки свои, и младшенький Никита, как сдаётся Тимофею Ильичу, пошёл в род Тутариновых... Или переселиться в Журавку — поселение хоть и не казачье, а стоит у реки и на просторе — жить и в таком селе можно. Или пусть будет Чёрный Лес — тоже, наверное, такое же большое село, как и Журавка. И всё же покидать Усть-Невинскую не хотелось. Как ни как, а в Усть-Невинской уже прожито семьдесят три года, и вдруг бросить, уехать... Голова склонилась ещё ниже, картуз сполз на лоб — затылок не седой, а белый, шея в сухих морщинах, а в пальцах, до черноты закопчённых табаком, дымился забытый окурок... А что, если так: погостить месяц-другой у Сергея, потом столько же у Семёна — и опять домой, в родной курень... И хотя опустел, осиротел тот курень, а всё же своё место; хотя он похож на старое гнездо, в котором выросли, оперились птенцы и

разлетелись кто куда, а всё ж таки тут всё своё, родное... А если случится — заболеешь? Кто присмотрит, кто воды подаст? Придут соседи, навестят, не оставят... Вот и бабка Параська овдовела — проводила на покой своего Евсея, живёт одна — и ничего... Приходит, спасибо, не забывает старого. «А ежели б спароваться нам, — думал Тимофей Ильич, чувствуя, как окурочек уже горит в пальцах. — Стать бы нам с Параськой в одну упряжку и жить себе до скончания... Нет, станицу свою я не покину...»

Тимофей Ильич бросил под каблук окурочек, поднял голову, а смотреть не мог. Над Журавкой пылало солнце — и такое огромное, такое яркое, что белые хаты в его лучах сделались красными, точно были охвачены пламенем... Тимофей Ильич заморгал отяжелевшими веками — глаза слезились. Он вытирал их рукавом, а Сергею, который только что вышел из дома в галифе, в белой нательной рубашке и в накинутом на плечи полувоенном кителе, показалось, что отец плакал.

— Батя, что это вы тут сидите? — спросил Сергей, присаживаясь к отцу.

— Греюсь на солнышке... А ничего, Сергей, и в Журавке подходяще солнце греет. — Старик зажал в ладони сизые от табачного дыма усы и посмотрел на сына ещё мокрыми глазами, — А ты чего не спишь? Заседал же всю ночь и уже на ногах.

— Дела, батя, не спят.

— И тут их много?

— Хватает... Вот поеду к Кондратьеву.

— На совет? — Тимофей Ильич развернул на колене кисет, кивнул сыну, чтобы закурился, помолчал. — Я в твоих делах мало смыслю, а всё ж таки, по-моему, не следует тебе часто являться за советом... А то ещё подумает Кондратьев, что ты без него, как дитя без няньки, шагу ступить не можешь...

— Могу, батя, и без совета, но тут у нас подоспели такие дела, что непременно надо побывать у Кондратьева. Машины нам нужны... Труд людей надо облегчать.

— Ну, если так... А что ж наши казаки — пожалуют в Журавку?

— Поедем, да и пригласим. Завтра должны приехать. Кое-кто у нас, батя, побаивается рощенцев.

— А ты?

— Вам сознаюсь — есть и у меня опасение.

— Опасение тут, конечно, резонное, потому ставропольцам ещё трудно угнаться за казаками, — свёртывая цыгарку, рассудительно сказал Тимофей Ильич. — А только я замечаю — наши казаки загордились, а гордость — это беда такая... Так что вы своих людей поднимайте, подбодрите — и действуйте.

— Такая думка, батя, у меня была. — Сергей взял у отца кисет, повертел его в руках и положил на место. — Батя, а как же вы? Может, припишем и вас к журавцам?

— Малость, сынок, погодим.

— А чего ждать? Хату в Усть-Невинской продайте — и всё!

— Продайте? Это только легко сказать, сынок...

Тут на Сергея навалились дети — Илюша вскочил на спину, за ним стал карабкаться Тимоша — и в один голос закричали:

— Дедушка! Папа! Идите, мама зовёт завтракать...

— Это легко сказать — продайте, — тихо повторил Тимофей Ильич, тяжело опираясь руками в колени и вставая.

Сергей вёл за руки детей, шёл следом и думал: «Плакал.

Жалко расстаться с Усть-Невинской... Да, не легко старику...»

* * *

Позавтракали. Сергей начал собираться в дорогу. Надел кожаное пальто и кожаную фуражку — удобно в поездке; взял вместительный портфель — тоже предмет исключительно дорожный, куда Ирина успела положить мыло, полотенце, коробку папирос и пирожки, завернутые в бумагу, на которой уже появились масляные пятна...

В приёмной райкома Сергея поджидала Самойлова. В тёплом пальто, повязанная большой шалью — концы с длинными махрами свисали и на спину и на грудь; сидела чинно, сунув руки в рукава, — у её ног стоял небольшой коричневый чемодан.

— Марина Николаевна, должен тебя огорчить, — сказал Сергей, когда они вошли в кабинет, — Ночью передумал... Отправляйся в Рощенскую и приглашай гостей.

— Сергей Тимофеевич, а если неудача?

— Ну, какая там ещё неудача? О чём это ты?

Сергей, конечно, знал, какая неудача тревожила Самойлову. И чтобы показать, что он совершенно уверен в успехе поездки, начал собирать на столе и в ящиках стола какие-то бумаги и складывал их в портфель. Посмотрел на грустное лицо Самойловой, обрамлённое шалью, и сказал:

— Поезжай... Ждать тебя с гостями будем завтра. К обеду я вернусь, и мы подготовим встречу... А как же! Без встречи нельзя! А не успею вернуться — Дедюхин сделает... Ну, счастливого тебе пути...

Сергей сел за руль, а шофёр Павел Фёдорович, с грустным, задумчивым лицом, — сзади. Ехали на восток, как бы навстречу солнцу, высоко поднявшемуся над однообразно скучными, серо-жёлтыми полями. Дорогу, все эти дни укрытую мокрым туманом, так укатали грузовики, так расписали её резиной, что теперь, в лучах яркого солнца, она всюду рябила и лоснилась тёмным гляncем... И как только слева показалась знакомая пойма, домик Михайличенки, опустевшие рисовые поля, рыжие и мрачные пояса камыша по Егорлыку; как только Журавка осталась за мостом, а впереди потянулись степи и степи под ясным осенним небом, — Сергей опять начал думать о встрече с Кондратьевым, о том, как бы проще и точнее изложить ему самую суть просьбы... И ему уже виделась большая приёмная, тяжёлые шторы на широких окнах... Выходит Николай Петрович, как обычно, скупно улыбается, говорит, что давно поджидает и просит войти...

В исполкоме Марина Николаевна Самойлова просмотрела почту — со вчерашнего дня письма лежали в папке — одни в конвертах, другие — раскрытыми; попросила у секретаря копию договора социалистического соревнования с кубанцами и положила его в портфель, — подлинник был отправлен в Рощенскую ещё на той неделе; позвонила директору Суркульской МТС Нилу Тимофеевичу Горобцу, который был родом с верховья Кубани, и подробно расспросила дорогу на Рощенскую: позвала шофёра Маню, до смешного курносую женщину лет сорока, с замашками и силёнкой мужчины, с некрасивыми рачьими глазёнками на обветренном буро-бронзовом лице.

— Запиши, Маня, или запомни, — говорила Марина Николаевна, подробно рассказав, как надо ехать в Рощенскую.

— А я и без напоминаний дорогу найду, у шофёров вся география в точном зрении, — весело ответила Маня, а маленькие её глаза смеялись без всякой видимой причины. — Помчимся напрямки.

У Марины Николаевны было время заехать в Сухую Буйволу и час-два побыть дома, пообедать с мужем, но она не заехала и наскоро перекусила в столовке сельпо. Не могла понять, почему с того дня, как в её доме побывал Сергей Тутаринов, она старалась как можно реже видеться с Зиновием Еюкиным и была рада переходу на работу в Журавку. Ей и сегодня не хотелось встречаться с мужем, ни обедать вдвоём, ни тем более разговаривать с ним всё о том же: о спокойной жизни, в которой нет ни споров, ни волнений... «С ним мне и скучно и грустно, а ведь всё ж было по-иному, — думала она. — Прочитает записку, пусть себе думает, что я уехала в Ставрополь — ему-то всё равно...»

Во второй половине дня ГАЗ-67 с двумя женщинами — одна, в заячьей шапке-ушанке и в ватной стёганке, сидела за рулём, другая, в тёмносинем пальто, повязанная белой шалью, рядом, — выскочил из Журавки и запрыгал по степи. «И ему всё равно, и мне

тоже»,— думала Марина Николаевна, когда газик, живо перепрыгнув бугорки на только что перепаханной дороге, помчался напрямик через гору. Маня смотрела вперёд, и её, теперь уже злые и колючие глаза так и впились в просёлочную, узкую и неровную дорогу.

Марина Николаевна мечтательно смотрела на блёкложёлтые осенние поля, на безрадостные балки, на скучные своим серым видом курганы и как-то по-особенному остро сознавала, что Зиновий Еюкин — это далеко не тот, кто ей был нужен, что в этом вялом человеке, любящем жизнь тихую, без волнений и тревог, нет ни того тепла, о котором она так много мечтала, ни того света, которого ей так не хватало в личной жизни... После того, как она стала работать в районе, отношения с мужем ей напоминали красивую на вид верёвку, но свитую из плохого, не цельного волокна, и эта верёвка, как только её слегка потянули, начала раскручиваться и расползаться...

Марина Николаевна думала о том, что хотя та верёвка и расползается, но не скоро оборвётся, — где-то там, в самых далёких тайниках сердца, приютился Еюкин; может быть, поэтому временами она питает к нему не то, чтобы любовь, а какую-то странную жалость: так бывает жалко человека, который попал в беду случайно, по своей же глупости. «Он в беде, а мне больно — отчего? — мысленно спрашивала она себя и не находила ответа. — Плохо, что я раньше, в молодости, не знала жизни писателей — может, они все такие и всем жёнам с ними так трудно?..» И опять нет ответа.

Она подняла усталую голову, ощущая боль в висках, нерадостно посмотрела на вечеревшую степь. Кубань прорезала белой полосой красные кущи леса. Там щедро пламенел закат — нет, не такой, совсем не такой, какой бывает в степи за Журавкой. На фоне багрового пламени была видна укрытая жёлтой шалью садов казачья станица. «Должно быть, Рощенская»,— подумала Марина Николаевна.

— Вот мы и не заблудились,— сказала Маня. — Марина Николаевна, отчего вы такая грустная да молчаливая. Всю дорогу не сказали мне ни словечка...

— Нездоровится, Маня...

— В дороге это плохо.

Въезжая в Рощенскую, Марина Николаевна думала, что встреча и знакомство с Татьяной Нецветовой, как это обычно бывает, произойдут в райкоме, — журавская гостья войдёт в кабинет, а из-за стола ей навстречу выйдет женщина высокого роста, с волевым не улыбающимся лицом, посмотрит изучающе строго и скажет:

— Прибыли? Прошу ваши документы...

Случилось же всё не так, как думалось... В райкоме Нецветовой не было. Самойлову встретила молодая и миловидная на вид женщина, назвавшая себя дежурной.

— Ой, это вы,— сказала она нараспев,— Из Журавки! А Татьяна Николаевна давно вас поджидает — просила к себе... Я вас провожу. Татьяна Николаевна живёт в том доме, где жил Николай Петрович Кондратьев, а после Сергей Тимофеевич. Не знаете?.. Тут близко.

Они шли по узкому тротуару, обсаженному деревьями и усыпанному листьями, завернули за угол, — Марина Николаевна думала: «Она тоже Николаевна... Это мы, как сёстры... Только кто же из нас — сестра старшая...»

Марина Николаевна вошла в освещённую веранду. В открытых, ведущих в комнату дверях стояла невысокая, статная женщина в белом, с синей каймой, переднике и держала на руках белоголового ребёнка, который, увидев Марину Николаевну, тянулся к ней ручонками... Лицо у женщины было усталое, светлосерые с голубизной глаза смотрели приветливо, а на голове две косы цвета переспелой овсяной соломы были туго заплетены и уложены высоким гребнем...

— Здравствуйте, Марина Николаевна! — сказала она низким грудным голосом, подавая руку, а другой сильнее прижимая к груди ребёнка.— Сергей Тимофеевич звонил из Ставрополя. Мы весь день ждали... Проходите.

— Я очень рада с вами познакомиться,— сказала Марина Николаевна и тут же, с чисто женским проворством успела заметить, что годовалый ребёнок — наверное

девочка, похож на мать, что её «сестра», конечно же, моложе и намного,— Только признаться, Татьяна Николаевна, такой я вас не представляла...

— А какой же?

— Ну, всегда, не зная человека, мы думаем не столько о нём, сколько о его должности...

— И по должности судим? Тут нетрудно и ошибиться, а особенно, если в этой должности женщина. — Татьяна прищурила оба глаза и улыбнулась.— Эх, должность, должность. Да вы проходите в комнату... Я тут одна. Няня пошла в магазин, а муж ещё не явился... Думаю, Марина Николаевна, вы со мной согласитесь: трудно нам, женщинам, — на службе мы одни, а дома — другие. У вас нет вот этих пелёночек и вот этих милых глазёночек?

И Татьяна, не ожидая ответа, начала целовать ребёнка жадно, по-матерински ненасытно, а у Марины Николаевны шевельнулось в груди что-то такое — не то зависть, не то горечь воспоминаний. Вспомнилось давно забытое: вот так же когда-то она целовала свою маленькую Лушу...

— Девочка? — участливо спросила она.

— Да нет! Мальчик! разве не видно — головастый, весь в папашу...

От того ли, что вспомнилась давно забытая материнская радость, или от этой по-женски хорошей зависти; от того ли, что Татьяна, являясь секретарём райкома, так умело и целовала и держала на руках ребёнка, или от того, что хозяйка дома была в переднике; что светлая её коса заплетена умелыми руками и уложена на голове со вкусом; от того ли, что Татьяна привычно и запросто расстегнула кофточку и, прикрывая косынкой полные, с коричневыми пятачками сосков молодые груди, начала кормить сына, — только на сердце у Марины Николаевны стало покойно и радостно, точно она и в самом деле приехала не к секретарю райкома, а к своей младшей сестре...

Пришла няня, женщина полная, седая, и Татьяна осторожно усадила в её мягкие руки сына, быстро застегнула кофточку, как бы говоря этим, что вот, мол, я уже и другая — та, которая тебе нужна, и теперь мы можем побеседовать о деле, — и увела гостью в соседнюю комнату.

Они сели на диван. Марина Николаевна молчала — думала о том, как и с чего начать разговор не о детях и не о каких-то женских заботах, а о том главном, ради чего она сюда приехала... Татьяна, хотя и делала вид, что теперь она готова заняться только журавской делегаткой и выслушать её, мысленно всё ещё находилась с сыном (мать, что тут скажешь!). Поэтому, сама не зная почему, начала рассказывать о том, как мальчик быстро научился ходить (однажды утром встал — и пошёл!); как плакал, бедняжка, когда на розовых молоденьких дёснах прорезались острые и белые, как стёклышки, зубки; какие заучил смешные слова, — сказала о том, что старшего сына, который задержался в школе и скоро должен явиться, звать Михаил, а младшего Серёжа, — имя дали в честь усть-невинского Кавалера Золотой Звезды; что ей хотелось бы поехать с делегацией в Журавку, чтобы повидаться с Сергеем Тутариновым и его женой Ириной, но что сделать ей это не позволяет вот этот маленький Сергей Стегачёв...

— Разве у вас девичья фамилия? — спросила Марина Николаевна, понимая, что в эту минуту никак нельзя начинать разговор о цели её приезда.

Лицо Татьяны сделалось грустным, взгляд — задумчивым: она смотрела на лампу, стоявшую на столе под зелёным колпаком, видимо, вспомнив что-то невесёлое и горестное.

— Первый муж был Андрей Нецветов... В войну погиб... Теперь у меня муж Илья Стегачёв... Этот — писатель! — добавила она нарочито громко, как бы желая скрыть грустное раздумье.

— Писатель?

— А что вас так удивляет?

— Нет, конечно, не удивляет... Я просто...— Марина Николаевна не договорила и подумала: «Что-то у нас с ней много в жизни схожего... И у неё, как и у меня, первый муж погиб на войне. И она, как и я, второй раз замужем... И второй муж, как и у меня, писатель...»

— Вы, верно, ещё и в глаза не видели вот эту повесть, — и Татьяна взяла со стола не очень толстую книгу в зелёном, под цвет весенней травы, переплёте. — «Кубанские зарницы» — сочинение Ильи Стегачёва... Жене, конечно, приятно.

— И в книжном магазине я не видела...

— В продаже её ещё нет — только вчера Илюша получил авторские экземпляры.

Быстро и не то, чтобы вошёл, а вбежал мальчик лет десяти-двенадцати, быстроглазый, энергичный. И по тому, как он смело поздоровался с незнакомой ему тётей, как бросил на стол сильно потрёпанный, выдавший виды портфель с книгами, как в это время у Татьяны радостью заблестели глаза, Марина Николаевна поняла, что это и был Михаил Нецветов. Взгляд серых, больших глаз у мальчика был строгий, не по возрасту волевой; на низко остриженной угловатой голове непокорно торчал чубчик с характерным завихрением — видимо, из-за этого завихрения и оставляли этот пучочек волос; на затылке по-казацки лихо сидела кубанка из серой смушки.

— Ну что, герой? — спросила Татьяна, обнимая сына и счастливым взглядом обращаясь к Марине Николаевне.

— Мама, ты меня не задерживай.

— А что случилось?

— У нас сборы.

— И сегодня?

— Да хотя бы и каждый день — если нужно... Скажи тёте Варе, пусть покормит без задержки... Люблю есть на ходу!

Мишутка снял кубанку и, ударя ею о коленку, убежал на кухню. Опять на красивое лицо Татьяны упала тень.

— На ходу, — сказала она грустно, — Вот таким, помню, был покойный Андрей... И ещё, вы заметили, Марина Николаевна... Как это он сказал: «хоть бы и каждый день...»

Как это делают в таких случаях решительно все женщины, Марина Николаевна тоже похвалила мальчика, сказав, что это очень хорошо, если он так торопится на пионерский сбор; что у него необычайно живой характер, а лицо и взгляд не по летам энергичны; что в нём вообще есть что-то своё, — словом, нашла в нём всё то, что каждая мать находит в своём сыне... После этих слов Татьяна снова повеселела, и Марина Николаевна решила, что вот и наступила удобная минута, чтобы начать деловой разговор, и она сказала несколько излишне официально:

— Татьяна Николаевна, должна сообщить вам, что я приехала в Рощенскую не одна... Со мной просьба наших депутатов райсовета и Сергея Тимофеевича Тутаринова... Мы приглашаем рощенцев пожаловать к нам на заседание сессии районного Совета, которая откроется завтра вечером, чтобы там обсудить и подписать наши общие социалистические обязательства.

— Благодарю, Марина Николаевна, вас лично, ваших депутатов и Сергея Тимофеевича за столь лестное для нас приглашение, — тем же нарочито строгим голосом ответила Татьяна, вставая и подходя к столу, — Прошу взглянуть, у нас всё готово. Ваши предложения, изложенные в проекте договора, который был нам прислан, обсуждались на колхозных собраниях. Народ одобряет. А вот и состав рощенской делегации, фамилии уже напечатаны в нашей газете. Я вас познакомлю. Первый, вот... Савва Нестерович Остроухов — председатель исполкома, ему поручено возглавить делегацию; Стефан Петрович Рагулин — председатель укрупнённого колхоза из Усть-Невинской — старик самонравный; Глафира Несмашная, или, как её у нас называют, Глаша — председатель

укрупнённого колхоза из Родниковской — женщина характера весёлого; Варвара Сергеевна Аршинцева — секретарь партийного бюро колхоза «Красный кавалерист» — женщина деловая и бедовая; Григорий Мостовой — директор МТС из Белой Мечети. Вот и все...

Марина Николаевна присела к столу, развернула газету, прочитала заголовки «Делегаты едут в Журавку», «Стефан Рагулин готовит речь», а думала почему-то не о делегатах и не о том, кто такой Стефан Рагулин и какую речь он готовит, а о Еюкине... Ей казался и странным и необъяснимым тот факт, что и у Татьяны — у этой приятной на вид молодой женщины, муж — писатель. И, может быть, поэтому мысли о Еюкине, о его пьесе «Солнце светит», которую он пишет шестой год, о его постоянных рассуждениях о какой-то бесконфликтности и были так прилипчивы и неотступны. Она держала в руках «Кубанские зарницы» — книжка новенькая и неизвестная, как бывает неизвестным человек, с которым только что встретился; обложка радует глаз, а листы свежо шелестят в пальцах и ещё с запахом типографской краски — так пахнет сапожный крем. Ей хочется поскорее узнать, какой же собой этот Илья Стегачёв и есть ли в нём хоть капля сходства с Еюкиным; может быть, и Стегачёв, так же как и Еюкин, нигде не служит, и, как Еюкин, любит жизнь спокойную...

Марине Николаевне так хотелось, чтобы муж Татьяны хотя бы немного был похож на её мужа, что она не удержалась и, улучив удобную минуту, как бы между прочим, спросила:

— Татьяна Николаевна, а ваш муж тоже нигде не работает? — Это случайно выскочившее «тоже» так её смутило, что она густо покраснела, вытерла платком пылавшее жаром лицо, и ей казалось, что Татьяна уже знает и Еюкина и то, чем был вызван этот вопрос, и это «тоже». — То есть я хотела сказать — не работает в учреждении и живёт, как писатель?

— Ну, что вы, разве это возможно. — Татьяна развернула газету и указала на подпись внизу. — Посмотрите — он редактор. Конечно, не очень удобно, когда муж редактор...

И когда две женщины опять сидели на диване и разговаривали о том, в каком часу делегация должна покинуть Рощенскую, чтобы прибыть в Журавку к полудню; когда обсуждался и такой вопрос: на каких машинах лучше всего ехать, и было решено пустить впереди «Победу» с открытым верхом, а сзади «Победу» с закрытым верхом потому, что на машине без тента удобно закрепить знамя, чтобы оно полоскалось на ветру всю дорогу, — а какая же это будет делегация, если она явится без знамени; когда уже были затронуты и такие частности, как, например, следует ли в договоре двух районов показывать подъём урожая по культурам в целом по району или отдельно по колхозам и даже по бригадам (Татьяна, как в прошлом агроном, настаивала выводить все цифры отдельно по колхозам); когда Марина Николаевна заговорила о росте поголовья скота и механизации животноводческого хозяйства, — в это время тихо и как-то боязно вошёл Илья Стегачёв. Татьяна быстро встала и представила гостью. Марина Николаевна смотрела на худого, с большим выпуклым лбом мужчину, с заметной плешью на голове и тонким, с горбинкой, носом, и с грустью сказала сама себе: «Э, нет, нет, не похож...»

Об этом же Марина Николаевна подумала и утром, когда две «Победы» с гостями неслись по степи — над передней ветер трепал знамя на коротком древке, и оно, как кусок жаркого пламени, то вспыхивало в лучах солнца, то на какую-то секунду угасало... И как только Марина Николаевна отворачивалась и не смотрела на знамя, она видела худощавое и горбоносое лицо Стегачёва, большой лоб, исписанный ниточками мелких морщинок.

За столом, когда сели ужинать и когда Татьяна снова взяла на руки Серёжу, Стегачёв то ласково смотрел на сына, то спрашивал Марину Николаевну о Журавке, о том, сколько в районе машинно-тракторных станций и совхозов, как организовано орошение, какой мощности гидростанция, на которой работает Ирина; об укрупнённых колхозах, о председателях — кто они и как ведут хозяйство; о животноводстве и особенно об овцах и о

Чёрных землях, и всё — цифры, фамилии записывал в блокнот. «Если позволите,— сказал он, улыбаясь сыну — на туго натянутой коже на лбу морщинок стало вдвое больше,— я беседу с вами напечатаю в газете... Теперь у наших читателей повышенный интерес к журавцам...»

Потом он подарил свои «Кубанские зарницы» с надписью. Там, в доме Нецветовой, Марина Николаевна постеснялась посмотреть, что ей написал Илья Стегачёв. Только в дороге, когда Маня немного приотстала от «Побед», Марина Николаевна развернула книгу и прочитала «Марине Николаевне Самойловой с уважением и с просьбой: прочитать и сказать автору своё мнение об этой книге».

- А что это у вас за книга? — спросила Маня, — Может, про любовь?
- Нет, Маня, про жизнь
- Какую?
- Нашу.
- Интересно бы прочитать...

«Нет, они не только не похожи — они очень даже разные»,— думала Марина Николаевна, прикрывая шалью глаза и опять видя кусок пламенеющего кумача и большой лоб в мерезках морщин... «Прочитать и сказать своё мнение... А Зиновий Еюкин? Он моим мнением не интересуется... А зачем оно ему? Мы тоже разные...»

Машину подбрасывало, она легко качалась на рессорах, а колёса, подпрыгивая, с резким шумом мяли щебень... Марина Николаевна закрыла лицо концом платка, вслушивалась в шум резины, и так она, не открывая глаз, и ощущая сквозь шерсть платка холодный воздух, просидела почти всю дорогу...

* * *

В то раннее утро, когда Сергей уезжал в Ставрополь, Кирилл Дедюхин не мог прийти в райком. Нездоровилось Марии филипповне. Самому нужно было и вызвать врача, и приготовить завтрак, и проводить в школу сына. Позвонил по телефону, хотел напомнить, что сегодня пятница, и спросить, как же быть с приёмным днём, но было поздно: Саша ответил, что Тутаринов уехал... «рвётся, бежит, а с чем-то вернётся в Журавку»,— думал Дедюхин, провожая врача в спальню жены.

Только в середине дня Дедюхин пришёл на работу. Лицо у него было помятое, хмурое, какое бывает у человека больного или плохо спавшего. В коридоре и на крылечке собрались люди, поджидавшие приёма Их было много... «И зачем он устроил эти «пятницы», — подумал Дедюхин, входя на крылечко. — Ведь всё равно — как были жалобщики, так они и будут, установи им хоть семь «пятниц»...

На солнышке, прислонившись спинами к стене, на корточках сидели два старика с посохами — один бородатый, второй безбородый. И эти посохи, и грубые, запылённые, со стоптанными задниками сапоги, и узелки с харчами говорили, что старики пришли в Журавку издалека. Тот, что по ноздри зарос буро-седой бородой — на солнце она казалась сизой с тёмным отливом,— держал на коленях кошёлку и что-то в ней искал, а его сосед, старичок щупленький, в сильно поношенном полушубке и с реденькой, слабо вьющейся бородкой, развернул на коленях узелок и ел пирог с капустой... «Хоть пиши картину,— подумал Дедюхин, усмехнувшись, — ходоки у Тутаринова...» Женщины в тёплых платках и в кофтах увидели Дедюхина, встали и хотели было идти ему навстречу, но остановились,— очевидно, обознались. Парень в замасленной стёганке и в парусиновой кепке, из-под чёрного запылённого козырька которой петушиным хвостом выбивался русский чуб, оскалил молодые белые зубы, хотел что-то сказать и не сказал... «Тракторист и, наверно, прямо с борозды,— думал Дедюхин, входя в коридор.— Бросил трактор и прилетел — «пятница», что поделаешь...» Тут Дедюхин увидел Рясинцева, Андрея Андреевича Гнедого и Нила Трофимовича Горобца. Со всеми поздоровался кивком головы и сказал:

— Товарищи, а Сергей Тимофеевич в отъезде. Просил меня извиниться — срочные дела заставили выехать.

Послышались голоса:

— Ах ты горе!

— Поговорить бы.

— А писали, что каждую пятницу.

— Писать можно.

— Шли пешком...

— А мне пахать не дают!

— Кирилл Михайлович, как же быть — людей полон кворум, а Сергея Тимофеевича нету, — сказал Рясинцев, не мигая глядя в лицо Дедюхину и прижимая локтем свою толстую, в переплёте, тетрадь. — Может, вы его замените, и тогда весь этот кворум...

Тот старик, у которого буро-сизая дремучая борода, склонил на кошёлку голову, как бы собираясь вздремнуть, задумчиво проговорил:

— Знать так, Мефодий, не ко времени мы явились: и есть кворум и нету кворума.

— А что оно такое, Игнат, — этот кворум? — спросил сосед, не переставая жевать пирог.

— Чёрт же его знает — что-нибудь чужое, нерусское.

— А может быть, ругательство?

— Выражение!

— Я, конечно, мог бы заменить Сергея Тимофеевича, — сказал Дедюхин и стройной, живой походкой прошёл в приёмную Тутаринова.

— Александр, — обратился он к Саше. — Сергей Тимофеевич уехал?

— Вы же знаете, а спрашиваете.

— А тебе, любезный, лень ответить. Эх, какой же ты! Открой кабинет.

— Не велено.

— А людям ждать — велено? Давай ключ...

Саша, смущённо мигая светлыми, всегда спокойными глазами, молча открыл дверь. Стоя на пороге, Дедюхин скучно улыбнулся и сказал:

— Александр, ты хороший страж, но плохой политик, да, да, просто никудышный. Об этом я тебе говорил ещё при Борискине, когда ты... Пойми, дорогой, лично мне оберегаемое тобой место не нужно, но неудобно принимать посетителей в конуре, именуемой кабинетом второго секретаря. Вот когда у нас будут у всех кабинеты — и просторные, и светлые, и отлично обставленные...

Саша просматривал в папке какие-то бумаги и не слушал. Дедюхин огорчённо вздохнул и прошёл в кабинет, смело прикрывал хорошо ему знакомую, обтянутую чёрным дермантином, толстую и тихую дверь. Он повесил пальто, потёр ладонью лоб, поперёк которого розовой стёжечкой лежал надавленный фуражкой след; пригладил и без того гладко зачёсанные сверху волосы льняного цвета; прошёлся к окну и обратно, — почему-то каждый раз, оставаясь один в этом кабинете, Дедюхин подолгу прохаживался, много раздумывал и делался добрее обычного. Ходил он по кабинету медленно, прислушивался к скрипу сухих подошв — левый ботинок скрипел как-то так удивительно певуче, точно выговаривал: «а ты не ходи, а сиди, а ты не ходи, а сиди...» «Ещё посижу, успею, сидеть нетрудно, — думал Дедюхин, подходя к столу. — А вот обдумать, как бы лучше помочь тем, кто там, в коридоре, и для кого «пятница»... Да это сложнее. Два старика с палками, истинные ходоки, пришли — и куда? К нам, к партийным руководителям... По сапогам видно — прошли не один десяток километров. Наверно, райсобес не выдаёт пенсию, захлестнул стариков волокитой, и вот они тонут... Ну, ничего, мы разберёмся... у нас не потонут...»

С этими мыслями он картинно, несколько набок наклонил голову и увидел в тёмносинем стекле, которым был накрыт стол (цвет не стекла, а сукна), своё лицо. На нём явилась заметная новизна: она во всём — и во взгляде, задумчивом и строром, — взгляд

оратора, только что взошедшего на трибуну; и в повороте головы — такие повороты можно встретить разве только на фотографиях, выставленных на улицу в широченной раме с надписью: «Электро-фото любых размеров и поз»; и, наконец, в улыбке доверчивой и простой, а если сказать более точно — то в улыбке ясной и самобытной...

И опять в груди теплилась радость, и в сознании рождались высокие помыслы, смелые желания — хотелось сделать что-то такое, чтобы узнали — нет, не только в крае — в крае это само собой — а и в Москве!.. И видится ему: он идёт по улице, а народ, встречаясь с ним и приветствуя его, говорит: Кирилл Михайлович, как же вас благодарить!.. Или: Э! Если бы все вот так заботились о людях, если бы все так старались... Простой пример: пришли два дряхлых старика; где они только не были со своей жалобой, даже в редакцию ходили, и никто не мог им помочь, а он выслушал и сразу... И тут же откуда-то случайно долетело до уха: вот это секретарь — куда там Тутаринову, а он же ещё не первый, а второй, а вот если бы первый...

Дедюхин задумчиво смотрел в окно. Хотя он вообще и не одобрял установленные Тутариновым постоянные «пятницы», но сегодняшняя пятница казалась ему особенно нужной: он был уверен, в этот день и Сергей Тутаринов не смог бы так, как он, Кирилл Дедюхин, запросто поговорить с народом, да и не только поговорить, а и разрешить все запутанные жалобы, все просьбы и споры сразу, без каких бы то ни было проволочек...

В дверях неслышно появился Саша и сказал:

— Возьмите трубку. Сергей Тимофеевич на проводе...

Дедюхин молча прислонил к жёсткой раковине уха холодную и гладкую телефонную трубку.

— Да, я... слушаю.

Знакомый, но чуть слышный голос говорил:

— Меня задерживают непредвиденные дела... Приеду только завтра под вечер. Организуйте встречу Рощенцев — они выезжают завтра. Пригласите утром людей из колхозов. Пусть играет оркестр. Хорошо было бы главную улицу украсить знамёнами, лозунгами...

Дедюхин кивал головой и говорил:

— Сделаем... Будет и оркестр. Всё будет в порядке. Я беру на себя... Да! Сергей Тимофеевич, а как же с машинами — дают или не дают?

В трубке тот же далёкий голос:

— Не волнуйся... Волнение ещё впереди. Всё обернулось совсем не так... Приеду — расскажу.

Дедюхин хотел сказать Сергею, что «пятница» и в его отсутствие не отменена, но далёкий голос оборвался. «Так, так,— волнение ещё впереди, всё обернулось не так,— Дедюхин вышел из-за стола и начал неспеша прохаживаться от окна к дверям.— Значит, не приняли — факт печальный... Да! Как я говорил, так оно и вышло. Вот тут и не горячись, и не волнуйся...»

Он ходил, думал и прислушивался к скрипу ботинок, — левый опять напевно советовал: а ты не ходи, а сиди, а ты не ходи, а сиди...

Подойдя снова к столу, Дедюхин потянулся рукой к белой кнопке, похожей на перламутровую пуговку. Как только твёрдый палец нажал эту пуговку, дверь бесшумно распахнулась и появился Саша.

— Александр,— сказал Дедюхин ласково, — я думаю, мы начнём приём со стариков. Ты их пригласи вне очереди, а потом уже установи очередь, чтобы был порядок...

— А стариков нету... ушли.

— Как — ушли? А куда? Что-нибудь же они сказали?

— Тот, что с бородой, сказал, что у них личное дело к Сергею Тимофеевичу. А другой повторял что-то непонятное... кворум, кворум, а к чему это — не знаю.

— Странно... Тогда пригласи паренька... Того, что з кепке. Не знаешь, что там у него?

— Лысаков обижают.— Саша склонил голову. — Заставляет пахать, а удобрение лежит в кучах. Ну, он и примчался. Я звонил Лысакову — люди посланы. Пока парень вернётся — удобрение будет разбросано.

— Он что же — пешком?

— На велосипеде.

Дедюхин посмотрел в окно, как бы желая убедиться, точно ли тракторист приезжал на велосипеде.

— Ну, тогда проси женщин... Не всех, конечно, сразу.

— А я им посоветовал обратиться к Кумшакову, — ещё ниже наклоняя голову, сказал Саша, и волнистый светлый чуб упал ему на лоб,— Это — доярки из Сур кулей...

— Что у них там?

— Жалоба... С весны лежат доильные аппараты, и устанавливать их никто не собирается. Я послал к Кумшакову... Рясинцев просится к вам... И ещё приехал из Чёрного Леса Гончаренко — новый директор МТС.

— Пусть Рясинцев повременит — проси Гончаренко. Да, вот ещё — не забудь. Позвони редактору. Пусть срочно явится... Заодно позвони Кумшакову и скажи, чтобы готовил встречу рощенцев. Когда управится со своими делами — пусть зайдёт.

Вошёл Семён Гончаренко. На нём кожаная, плотно облегающая плечистую фигуру куртка, какую обычно носят лётчики; суконные, на выпуск, брюки, на голове — кубанка. У порога Семён снял кубанку, остановился и погладил ладонью светлые волосы... Если бы Дедюхин знал этого коренастого, похожего на лётчика, мужчину раньше, скажем, хотя бы в те дни, когда фронтовой друг Сергея Тутаринова в кителе, без погон и при орденах впервые вступил на кубанскую землю, то ни за что бы не сидел за столом, а встал бы от удивления и сказал: погоди, погоди, да ты ли это, Семён? Да тот ли стоит передо мной белобрысый паренёк, кто так умело исправил водокачку, кто так славно поправил соломенную крышу на сарайчике, а заодно починил и Анфисины туфли?..

Дедюхин же не знал ни того, как юноша из орловщины вернулся с войны на Кубань и как влюбился в сестру своего друга, ни того, как летом, в лунную ночь, у копны сена брал Семён на руки Анфису, вихрем кружился с ней вокруг копны и плакал от счастья; ни того, как на сплаве леса в горах, слушая тревожный гул Кубани в ущельи, Семён и Анфиса мечтали о своей хате на краю Усть-Невинской, о белых кружевных занавесках на окнах, не думая и не гадая о том, что жить им придётся в Чёрном Лесе... Поэтому Дедюхин не поднялся, ничему не удивился и ничего не сказал, ибо перед ним стоял мужчина коренастого сложения, светлоглазый, с белёсыми, точно выжженными на солнце, почти незаметными бровями, новый директор Чёрнолесской МТС — и только.

— Прошу, садись.

И покамест Семён подходил к вешалке, чтобы оставить там свою кубанку, покамест неспеша, удобно пододвинул к столу стул и сел, Дедюхин, как бы показывая, что ему дорога каждая минута, быстро снял телефонную трубку, позвонил домой и от Оленьки Кумшаковой, которая как раз была у своей подруги, узнал, что Маше лучше.

— Семён Афанасьевич, приветствую тебя! — Дедюхин протянул правую руку, левой упираясь на аппарат телефона.— Говоря честно, нравится твоя, так сказать, неудовлетворённость и та острота взгляда на, казалось бы, обыденные вещи, которая присуща только партийному работнику...

«О чём это он с таким подходом»,— подумал Семён, вынимая коробку «Казбека» и раскрывая её на столе.

— А если бы яснее и точнее, — сказал Семён, дуя в мундштук.— Кури...

— Благодарю... Да, это здорово! — Дедюхин встал, прошёлся к окну и, услышав певучий скрип левого ботинка, сразу же сел. — А вот и точнее... Я имею в виду твою статью в нашей газете. — Он наклонился так, что лёг животом на стол. — Завтра к нам приезжают рощенцы — пусть читают и знают, как мы строго оцениваем свою работу. Как

это у тебя — за машинами не видно людей. И выражение свежее, литературное. Не Зиновий Еюкин подпустил тебе эту художественность?

— Пишу, как умею.

— Да ты не хмурься... Я даже подчеркнул это место,— Дедюхин развернул газету и энергично придавил пальцем отчёркнутые красным карандашом строки, — Может, Сергей Тимофеевич и пожурит, а я хвалю... Вот оно: «В гуле моторов, который разливается по степи могучей стальной симфонией, теряется голос человека — молчат трактористы, механики, бригадиры, и в этой тишине...» Просто образное выражение — «могучей, стальной симфонией...» — Он опять слегка надавил животом стол и заговорил тише.— Беда, Семён Афанасьевич, скажу тебе по секрету, как близкому другу Сергея, в том, что наша просьба в крае насчёт машин не принята...

— Как — не принята?

— А так... В деталях не знаю, а вообще не принята... Кондратьев сказал: не забегайте наперёд... И, конечно, правильно сказал. — Он взял газету, читал молча, губы его чуть-чуть улыбались.— Или вот это место, где ты критикуешь инструкторов райкома. Правильно подстегнул, разленились, на низах бывают мало, а если приезжают, то в суть дела не вникают... Это точно!

«И к чему он затеял эту похвалу,— думал Семён, — Тут что-то есть, а вот что?.. Не забегайте наперёд? А как же без машин?»

— Ну, я пойду, — сказал он невесело, — Меня поджидает Иван Афанасьевич... у меня к нему дело... А в райком я зашёл — думал, застаю Сергея Тимофеевича...

— Как доклад у Книги? Не хвалился? — спросил Дедюхин, вставая и провожая Семёна.

— Как же! Доклад готов.

— Коррективы, конечно, придётся внести, но пусть подождёт возвращения Сергея Тимофеевича.— И уже возле дверей, вполголоса: — Я же тебе по секрету...

Семён ушёл, забыв взять с вешалки кубанку. Как всегда без стука появился Саша, молча снял Семёнову кубанку и, держа её в руках, сказал:

— Рясинцева приглашать?

Дедюхин утвердительно кивнул головой и задумался. Когда же он поднял голову — там, где стоял Саша, увидел Рясинцева, прижимавшего подмышкой чёрную тетрадь.

— Что там у тебя, Кузьма Леонтьевич?

— Можно по записям?

— А без записей не можешь?

Рясинцев неудобно присел на стул и развернул на углу стола толстую, в переплёте, тетрадь. «Не растаеться со своими святцами — так всех туда и суёт, и записывает», — подумал Дедюхин, видя задумчивое, серое лицо Рясинцева.

— Кирилл Михайлович, Подставкин вывернулся и теперь угрожает... А разве я виноват?

— То есть как угрожает?

— У меня всё записано. — Рясинцев листал страницы и изучающе-колко поглядывал на Дедюхина бесцветными глазами,— Вот они. Первая ссора с женой восьмого числа третьего месяца, вторая первого — четвёртого, исключение из партии шестого числа восьмого месяца...

— Кузьма Леонтьевич, и зачем такая точность? Это же тебе не в кладовой, не товар по полкам раскладываешь? Ты же секретарь парторганизации колхоза...

— Точность и в жизни нужна,— Рясинцев послушав палец и перевернул страницу.— Тутаринов помирил их десятого числа девятого месяца, а пятнадцатого девятого Подставкин уже нанёс мне первое оскорбление...

— Какое же это оскорбление? — спросил Дедюхин, думая о том, что хорошо бы сейчас пойти домой, попить чаю, поговорить с женой, с Оленькой Кумшаковой.

— Посредством ябедных слов.

— Каких?
— «Бездушный» и в этом роде. Да у меня всё на учёте — вот запись... Посмотрите сами.

— Плохо, Кузьма Леонтьевич, что ты всё записываешь.— Дедюхин устало потянулся и подумал: «И вот такой буквоед стоит во главе партийной организации колхоза? А почему стоит? Потому, что мы рекомендуем избирать какого-нибудь кладовщика или учётчика, кто не связан с полевыми работами, а есть ли у него то, что требуется для партийного вожака — не интересуемся. Может, он кладовщик и отличный, а руководитель плохой. Вот где наша не вина, конечно, а беда, — не знаем кадры».

— Ты и здесь записываешь? — спросил Дедюхин, видя как Рясинцев старательно бегаёт карандашом по тетради. — Ты хотя бы при мне ничего не заносил в этот талмуд...

— Боишься?

— Чудак! Просто нехорошо. Ты же не следователь и не газетчик-репортёр, который всё берёт на карандаш.

— А я люблю точность. Был у вас, говорил, а когда говорил? Какого числа? Месяц? И, само собой, год.

— Да зачем всё это нужно?

— Для точности.

— Смотри, Кузьма Леонтьевич, как бы эта твоя точность да не обернулась против тебя. Ваши коммунисты, вот такие, как Подставкин, присмотрятся к твоим святам да на очередных выборах и прокатят на вороных. «Прокатить на вороных» — знаешь, что это такое?

— А как же! Только «воронье» и вас могут понести?

— Ты это к чему?

— Так, прилетело на ум.— Рясинцев развернул тетрадку и что-то записал. — Пометим и это.

— Помечай, помечай,— Дедюхин встал, как бы показывая, что разговор окончен.— Так ты что же, жалуешься на Подставкина?

— Хотел побеседовать, доложить.

— Ступай к инструктору Соколову и ему доложи.

Провожая взглядом Рясинцева и видя его узкий и какой-то тощий затылок, исписанный, как рубцами, глубокими морщинами, Дедюхин думал: «Пусть себе записывает до очередных выборов... Как это он сказал?... И вас могут... А что, такой может выступить на конференции и такое наговорить — у него же всё записано. С ним надо быть поосторожнее...» Снял трубку и сказал:

— Кумшакова... Ты, Алексей Иванович? Сообщаю новость, которую я предугадал ещё вчера: у нашего ходока неудача. Да, можно сказать, провал. Ну, удивляешься, а разве я тебе не об этом говорил? Ты приходи ко мне — обсудим план встречи рощенцев... Давай, мчись!

Утро было тёплое, почти летнее. После осенних, сырых, липнувших к земле туманов и вдруг столько солнца! И всё же Ирина, провожая детей на реку, одела их в костюмчики, вязанные из тонкой серой шерсти, у Тимоши на груди лежали три белых полоски, у Илюши — две; такого же серого цвета и тоже вязанные шапочки — и опять у Тимоши махорок синий, как цвет василька, а у Илюши —красный, точно полевой мак; туфельки у Тимоши чёрные, а у Илюши — коричневые. Всё это делалось по просьбе Сергея — так ему легче было узнавать, кто из его сыновей Илья, а кто Тимофей.

— Посмотрите, батя, теперь они разные,— сказала Ирина, обращаясь к Тимофею Ильичу, который стоял тут же и наматывал на удилице леску.— Не перепутаете?

— А ты ж распознаёшь и без отметок? — спросил Тимофей Ильич, не отрываясь от дела.

— То мать, — вмешалась в разговор Марфа Игнатьевна, мать Ирины, завязывая в узелок яблоки, груши, булочки,— Мать нюхом чует, она и с завязанными глазами, на ощупь, своё чадушко узнает.

— А я им дед и тоже могу распознать хоть голышами,— прихвастнул старик.— А что ж тут хитрого! Тимофей на меня схож, а Илья — на Сергея.

Тут подбежал один из внуков, обнял цепкими ручонками костлявое колено деда и спросил:

— Дедушка, а я кто? угадай — Тимоша или Илюша?

— Ишь, какой испытатель! разве не видно — Тимофей, мой же тёзка!

— Ай, не угадал! Дедушка и не угадал! Я Илюша—вот кто я! Мама, я же Илюша?

Ирина обняла Илюшу и смеялась тем особенным, хорошим смехом, каким смеются только матери, когда они прижимают к себе своих детей и не в силах скрыть радость.

— Сильно калибром одинаковые,— смущённо проговорил Тимофей Ильич...— Ну, раз ты Илья, то бери удилище.

— И мне! — просил Тимофей.

— Тимофей Ильич, ты им вручи по удилищу, — посоветовала Марфа Игнатьевна, — а сам возьми ведро и харчишки.

Ирина и Марфа Игнатьевна проводили рыбаков за калитку. Постояли, задумчиво посмотрели им вслед... По улице, ведущей к Егорлыку, рядом с высоким и сутулым стариком вприпрыжку бежали два мальчика в одинаковых серых костюмчиках,— так бывает в лесу: вблизи старого, ветвистого дуба, с могучим тёмнокоричневым стволом, курчавятся, зеленеют, тянутся к солнцу молоденькие дубочки.

Те, кто плохо знают Тимофея Ильича, могут заметить, и не без резона: почему, дескать, старик Тутаринов приехал в гости и ни с того, ни с сего пошёл ловить рыбу? Да разве не лучше было бы заняться этим делом у себя на Кубани, где, как это всем известно, водится настоящая рыба. А какая рыба в Егорлыке? Так себе — всякая мелочь. Да и мелочи той, чтобы попасть к журавским берегам, сколько нужно проплыть по каналу, пробиваясь и по тёмному тоннелю, и прыгая по водосбросам... Всё это, конечно, так, но у Тимофея Ильича, оказывается, и тут была своя причина, и не одна. Первая и не главная: пусть погуляют внучата возле речки, побегают, порезвятся — денёк-то какой; вторая — попробовать удочкой, а что там есть в Егорлыке, завелись ли в нём кубанские усачики и головни; третья и главная —встретить на мосту роценокских гостей. Ещё вчера от Сергея Тимофей Ильич узнал, что сегодня к полудню в Журавку приезжает роценокская делегация,— нет, не мог старик сидеть дома! Хотелось встретить земляков и узнать, кто едет, как едут и что у них на уме.. Тимофей Ильич подумывал и о том, что хорошо было бы самому пристроиться к делегатам да и побывать на сессии.

С этими мыслями он и вышел за село. Журавка стояла на возвышенности. Отсюда открылась степь под ласковым низким солнцем, а по ней петлял Егорлык в крутых, точно срезанных ножом, пепельно-серых берегах; над водой поднялся мост, высокий и белый, и детям казалось, что он легко, одним шагом, переступил реку и так остался стоять; от моста, по низине, раскинулись камышовые заросли, и взлетела над рекой стая диких уток,— всё это казалось мальчикам таким незнакомым, таким новым, манящим, что глазёнки у них заблестели, и тут удержать внуков возле себя Тимофей Ильич не мог. Они оставили удилища и с криком, наклонив головы набок и изображая резвых скакунов, помчались наперегонки под гору. «Ай, шустрые, ай пострелята, — думал Тимофей Ильич, ускоряя шаг, — так бы им и летать, так бы им и прыгать... Вот, вот один уже обогнал. Какой же это? Кажись, Илья. Нет, не Илья, а мой тёзка... упал Тимофей! Ах, ты горе! И не плачет, не сдаётся — поднялся и гайда — натура тутариновская...»

И на этот раз Тимофей Ильич обознался — упал-то не тёзка Тимофей, а Илья. Илюша ушибся, болело коленко, пальцы поцарапаны сухими колючками. Мальчик, не думая о боли, быстро поднялся и, всё так же наклоняя набок голову и оглядываясь, побежал по

жёлтой травянистой поляне. И вдруг остановился. Ему показалось, что перед ним была яма — тёмная и страшная; даже не яма, а какая-то дыра в земле — если вскочить в неё с разбега, то оттуда не выберешься. Илюша попятился, немного отступил назад. Осмотрелся. Тут приблизился не менее озадаченный Тимоша, и они вместе, держась за руки, подошли к этой странной дыре.

— Эх, ты — боишься!

— А знаешь, кто там живёт?

— Может, Змей Горыныч... Бабушка говорила, что он и в земле живёт... Змей! Где захочет, там и живёт!

— А если зацепится?

— Как?

— Будет выползать и зацепится...

— Так он же растягивается.

— Как резина? Да?

— А что? Захочет — разжимается, а захочет — укорачивается.

— И в длину?

— Куда хочешь — хоть во все стороны.

— О-ох ты...

Перед ними было, разумеется, не подземное обиталище сказочного змея, а обычная лисья нора размером чуть поуже голенища того дедушкиного сапога, которым Марфа Игнатьевна раздувала огонь в самоваре... у входа в нору рассыпана свежая, в мельчайших крупинках, земля, рябели отпечатки лапок. Земля — чернее сажи, видимо, вынута из очень большой глубины. Илюша положил на ладонь сухие комочки, подбросил, поймал и цмокнул языком...

И тут мальчикам показалось, будто в норке что-то зашевелилось и тоже зацмокало, посыпались крошки чёрной земли...

— Илюша, а, может, он там уже вытягивается?—тихо спросил Тимоша, сильнее сжимая рукой плечо брата.

— Бежим!

И братья, держась за руки, что есть мочи понеслись прочь... Не оглядываясь, они бежали по блёклой, сухой траве, и им чудилось: в том месте, где была нора, земля раскололась и из расщелины, как из ворот, вышел человек — он смеялся и что-то говорил... Оглянулись и остановились: оказывается, это дедушка и смеялся и говорил им, чтобы не подбегали близко к берегу...

Братьям стало неловко. Они наклонили головы, и тут их внимание привлекла трава, вымоченная дождями и много раз просушенная солнцем, и всё то, что в ней жило, копошилось, прыгало... Земля была нагрета солнцем. Кузнечики, треща крылышками, как камешки взлетали из тёплой травы и почему-то ударялись либо в щёку, либо в подбородок, либо в лоб. Очевидно, думали мальчишки, в траве были спрятаны пружины, и это они так сильно выбрасывали кузнечиков. Илюша накрыл шапкой сразу двоих — серого и зелёного, у серого, с чёрной полоской на спине, отломилась нога — как и отчего, дети не могли понять. Нога ещё двигалась, сгибалась и разгибалась на ладони у Тимоши.

— Приклеивай! Да быстрее...

— А как?

— Да вот сюда приставляй... Давай я приставлю.

— Не будет держаться.

— А ты послунявь... Эх, если бы клей!

— Пусть и без ноги живёт.

Тимоша пустил кузнечика в траву; очевидно, и с одной ногой он уселся на ту невидимую пружину, и она так его подбросила, что мальчишки не заметили, как в небе летал этот хромой прыгун. А может, он и не прыгнул? Они начали раздвигать траву и

нашли в ней не кузнечика с оторванной ногой, а зелёные иголки вылезшей из земли травы, а между ними и жучков и козявок — то чёрных, то серых, то красных, похожих на разноцветные бусинки. В руках эти бусинки было трудно удержать — они смешно двигали рожками и быстро-быстро бежали по ладони, щекоча ножками кожу; один, красненький, с белыми крапинками на спине, взобрался на ноготь, потом на кончик пальца, покружился там, с треском расщепил твёрдые крылышки и так смешно полетел, что дети рассмеялись.

— Ну, заигрались усть-невинские казачата, — сказал Тимофей Ильич, выбрав на реке удобное место и разматывая лески.— Всё-то им в диковину. Что тут скажешь — знакомство с жизнью...

Недалеко от моста, перед тем как, бурля и пенясь, наскочить на водорезы, Егорлык немного поворачивал в сторону, размыл берег и устроил круглую и глубокую заводь. Вода, с шумом и плеском врываясь сюда с быстротока, сразу же успокаивалась, кружилась медленно, устало, как бы говоря: ну, вот, наконец попала в затишок, хоть немного передохну, а то лечу и лечу от самого Эльбруса и всё по быстрине, всё без передышки...

Заплывала сюда и рыба — так под вечер уставшие путники сворачивают с главного тракта, желая найти приют для ночлега. Какой-нибудь тупоносый и вялый в движениях головень, явившийся как и те рыбаки, что сидели у воды с двумя удочками, от усть-невинских берегов, заметит такой отличный затишок и непременно завернёт; неспеша, по-хозяйски осматривает

дно,— как песок, много ли ила и какой он, не затерялось ли в нём чего-нибудь съестного, не всосал ли песок коряг, в которых можно было не только с удобством пожить день-другой, ко и скрыто подкараулить беспечного пескаря или даже шустрюю, но глупую плотву. Коряг, как на грех, не оказалось, а перед глазами заманчиво мелькнул красиво скрюченный червяк. У головня загорелись глаза; как опытный пловец, он решительно раздвинул голубого оттенка плавники, резко взмахнул хвостом и на лету, открывая круглый, мягкий рот, проглотил червяка... И тут какая-то страшная сила рванула и потащила головня вверх...

Вода всё так же кружилась тихо и спокойно. И уже в заводи появились усачи, и были они уверены, что в Егорлыке вовсе не было того головня, которого в эту минуту пылливо рассматривали в ведре Тимоша и Илюша, усачи гуляли весело, косяком, как гуляют по пастбищу конские табуны. И плыли по кругу как бы наперегонки, а у каждого, как у запорожца, длинные рыжие усища. Чешуя—мелкая, цвета речного песка, и стоит усатым прижаться к песку животами, как уже нет всего косяка, и только дно в этом месте кажется немного буграстым... И усачам заводь понравилась, и им было по сердцу то, что всюду песок и песок лежал пышным настилом, а перед глазами мелькал червяк...

— О! Это не головень, нет, совсем не та птица, — пояснял Тимофей Ильич, передавая детям в руки небольшого, скользкого усачика.— Это, ребятки, усач! Поглядите, какие у него усища! Мал, а усат...

— Как ниточки, — сказал Илюша, поднимая пальцем мокрый, свисающий усик.

— И вода капает,— заметил Тимоша.

— Усачик ещё мал, но тоже наш, кубанский, — говорил старый рыбак.— Теперь-то кубанская рыба всюду, она идёт по Невинномысскому каналу, по Егорлыку, аж до Маныча, а там, гляди, и в Дон переберётся... Они, дети, такие, эти кубанские усачи...

На берегу Егорлыка рыболовы пробыли до полудня. Солнце грело Тимофею Ильичу не бок, а спину, которая ныла, побаливала; тень от согнутой фигуры старика лежала посреди заводи, а от моста она протянулась наискось через Егорлык, захватив кусок берега. Внуки проголодались и съели всё, что припасла для них Марфа Игнатьевна. Лица у мальчиков покрылись свежим осенним загаром, губы обветрились и стали шершавые, а в горячих глазах — и радость и непередаваемая детская озабоченность... То они поймали кузнечика и решили испытать — сможет ли он так же прыгать и по воде, как по земле, и

погубили бедняжку; то кормили хлебными крошками рыбу — самый большой головень, как бы понимая то, что ему говорили мальчики, раскрыл свой круглый, трубочкой, рот, подержал на губах размокшую крошку, а есть не захотел; то отыскиали на берегу гусиные перья, пускали их на воду и задумчиво, с грустью во взгляде, смотрели, как эти крохотные белые точки убегали под мост и там пропадали...

Тимофей Ильич всё так же смотрел на поплавки. Они кружились на воде, а голова тоже кружилась, и на усталые глаза наплывал туман. «Пора тебе, старый, и домой, какое тебе дело до рощенской делегации; все кости у тебя ноют, покоя просят, а ты гнёшься над удилищами»,— кто-то говорил ему на ухо. «Погоди малость, — отвечал старик, — ещё посижу, подхвачу какого-нибудь зеваку и уйду, а может, дождусь рощенцев. Сергей же говорил, что нынче они придут...»

Тимофей Ильич был доволен клёвом и всё же, как опытный рыбак, считал, что рыба во много раз охотнее шла бы на крючок, если бы поблизости не было моста. Весь день по мосту то и дело проносились грузовики — машины тяжёлые, гружённые то углем, то зерном, то досками, то шерстью... «Ишь, как давит колёсами мост, как гудит, — думал Тимофей Ильич, видя, как по мосту проезжает трёхтонка с прицепом, на котором, подпрыгивая и лязгая, качались тонкие стальные прутья. — Ить этот же гул от колёс идёт вниз, по тем чугунным быкам, в воду, а рыба и распугивается... Эх, и до чего ж много расплодилось машин... И сколько же их ещё порасплодится...»

Тут Тимофей Ильич услышал знакомый голос:

— Эй, Тимофей Ильич!

— Так ты это что же! Усть-Невинскую бросил и уехал за границу?

Старик поднял голову. На мосту, там, где только что гремел стальным хвостом грузовик, стояли две «Победы» и газик. На передней машине с открытым верхом флаг устало повис на древке. Тимофей Ильич сразу узнал своих кубанцев. По откосу спускался, немного навеселе, Савва Остроухов — кубанка с красивым верхом, как всегда, лихо сбита на затылок. За ним шёл Стефан Петрович Рагулин, — на груди, в лучах солнца, Золотая звезда Героя; те мужчины и женщины, которые тоже вышли из машин, стояли возле перил и смотрели на рыбаков.

Вслед за Рагулиным Савва поздоровался с Тимофеем Ильичом, потом взял на руки сперва Илюшу, потом Тимошу и, смеясь и обнимая их обоих, уже стоявших на земле, спрашивал:

— Ну, юные усть-невинцы, кто ж из вас тот, а кто другой? А? Чего же вы так дичитесь? Или не узнаете земляка? Эх, славные у Сергея сыночки. И растут быстро, как мои!

— Приволье, чего ж им не расти, — сказал Тимофей Ильич, показывая Рагулину рыбу, — Погляди, Стефан Петрович, — наша, кубанская...

— Славная рыба, — похвалил Рагулин. — А что сын — дома? Встречу готовит?

— Сергей в Ставрополе... Обещал к вечеру быть. А встреча и без Сергея будет...

— Ну, а как ты, Тимофей Ильич, поживаешь на чужой земле? — осведомился Рагулин, лукаво щуря маленькие, слезливые глаза.

— А чего ж, Стефан Петрович, не жить, — отвечал Тимофей Ильич, — земля и тут своя...

— Да оно-то так. И сын тут и внуки — жить можно, — согласился Рагулин, ещё больше щуря глаза, — А всё ж таки в Усть-Невинскую тянет?

— И тут вода — кубанская, от наших же берегов.

— Вода, Тимофей Ильич, водой, — рассудительно сказал Савва, раскинув полы пиджака, как бы показывая: вот, мол, смотрите, какие на мне галифе, рубашка и какое серебро на поясе. — Тимофей Ильич, и как вы тут живёте? Кругом же голое место — ни тебе деревца, ни кустика. Тут только кочевникам и жить... Выбрал же мой друг Сергей себе местечко...

— Не сам выбрал,— сказал Тимофей Ильич, сурово насупив седые брови,— партия ему выбрала, и партия, Савва, лучше тебя знает, где моему сыну следует быть...

— А мы, Тимофей Ильич, в Журавку целой свадьбой,— сказал Рагулин, посматривая на мост и улыбаясь,— Будем начинать соревноваться с Сергеем Тимофеевичем, уехал он от нас, а мы к нему в гости... Жаль гармониста не прихватили для шику!

— Не печалься, Стефан Петрович, в Журавке найдутся гармонисты и похлеще кубанских, — Тимофей Ильич посмотрел на село, — Там вас давно поджидают... И духовая музыка ударит!

— Тимофей Ильич, приходи и ты вечером! — Рагулин сказал нарочно громко, чтобы на мосту услышали. — Станем с этими степняками договор подписывать — и ты поставишь свою подпись... Включим и тебя в делегацию — для веса!

— Не гожусь. Худощав...

— Ваш вес в голове,— заговорил Савва.— расскажите журавцам, как мы живём, как жизнь строим — пусть послушают и позавидуют... Говорит же не просто старый казак, а отец секретаря Журавского райкома.

— А чего вы такие весёлые да хвостовитые? — спросил Тимофей Ильич.

— А отчего ж нам не быть весёлыми, — ответил Савва.— Пусть горюют журавцы.

— Ох, Савва, Савва, — Тимофей Ильич покачал головой,— как бы тебе не пришлось плакать.

— Да вы не ссорьтесь, — перебил Рагулин, — Так приходи, Тимофей, на сессию.

Машины понеслись в Журавку. Впереди, как факел, знамя широко разметнулось на ветру. В стёклах — жарко пламенело солнце. «Эх, гости, гости, не по душе мне ваше хвостовство,— размышлял Тимофей Ильич, а по мосту опять гремели грузовики, и клёва не было.— Приходи для весу... Слово скажи — пусть позавидуют... А чему завидовать? Сын помог, электростанцию построили, а теперь Савва всю жизнь будет хвастать... А особенно тебе, Стефан Петрович, человеку пожилому, степенному, Герою Труда не следует задирать нос, а то, чего доброго, споткнёшься... Сын мой да и все тутешние люди — они знают, зачем вас приглашают. Цыплят-то по осени будете считать — и не музыкой, не шиком придётся брать верх, а урожаем да жизнью богатой...»

На сердце у старика лежала невысказанная обида. Сгибая костлявую спину, он так задумался, что не видел и не слышал, как на мосту остановилась ещё одна «Победа» и из-за руля встал Сергей, оправляя на смятой гимнастёрке пояс. Сергей остановил машину, ибо ещё издали увидел и отца, и сыновей, а дети сразу же узнали его и с криком, взмахивая ручонками, смеясь и разговаривая, побежали ему навстречу...

Сергей сел у воды, рядом с отцом, на мягкий настил сухой травы. Дети тянулись к нему, ласкаясь, а он сжимал их коленями, видел радостные, посмуглевшие лица, чёрные и быстрые, как у Ирины, глаза. Ему казалось, что лица их не только покрылись загаром, а стали несхожими — у Ильи лицо было как бы более круглым... «О, да вы уже разные, а вырастете и совсем не будете похожи один на другого», — обрадованно подумал Сергей.

— Папа, а мы нору видели.

— И не нору, а дырку.

— А кузнечик и без ноги запружинивает.

— Ой, ещё как! Если б ты видел!

— А какую мы рыбу наудили!

— И нет, она на крючки сама нанизалась.

— И вы рыбачили? — спросил Сергей, и тут ему опять показалось, что лицо Илюши ничуть неотлично от лица Тимоши.

— Дедушка не даёт.

— Говорил, сил нету вытаскивать...

— Сынок, правильно — вытаскивать, — поправил Сергей.

— А рыба она сильная.

— Папа, там головень...

Тимоша побежал к ведру и принёс его, расплескав воду.

Сергей поймал в ведре холодного, упругого, но уже присмирившего головня и сказал:

— По тупому рылу вижу — наш, кубанец... Вечером мы тебя на сковородку...

— Ну, сыну, сказывай, как твои дела? — озабоченно спросил Тимофей Ильич, — Как там Николай Петрович?

— Привет вам передал.

— Спасибо... А насчёт машин? Обещал подсобить?

— Всё, батя, обернулось вовсе не так, как мы планировали.

— А как же? В худшую сторону?

Сергей снял с Илюши шапочку и, перебирая пальцами мягкие тёмные волосы, опять видел лицо мальчика круглым, не таким, как у брата Тимофея.

— Есть, батя, важное решение.

— О чём?

— О том, батя, чтобы идею нашего Ивана Книги — о комплексной механизации — применить всюду. Понимаете, по всему краю...

— А как же машины? Будут?

— И не только у нас, а и у рощенцев, и вообще во всех районах.

— Важная новость, сынок. — Тимофей Ильич задумался, опершись на удилица.

— Хотите, батя, подвезу, да и сыны мои что-то присмирели. Пора домой, — предложил Сергей.

В машине Сергей усадил мальчиков рядом с собой, а шофёр и Тимофей Ильич уселись сзади.

— Батя, рощенцы здесь не проезжали? — спросил Сергей, притормаживая машину и выезжая с моста.

— Как же — были! — старик расправил усы, усмехнулся. — На трёх машинах промчались, с флагом. И меня звали в свою весёлую делегацию.

— И вы согласились?

— Можно было бы и согласиться, а только казаки наши лишнее о себе думают — вот что я не одобряю. — Тимофей Ильич наклонился к Сергею, — Слышишь, сынок, грозятся победить журавцев... Так ты, сыну, постарайся, людей своих подымай... Покажите хвастунам, какие люди живут в этих степях.

— Дайте, батя, срок — покажем!

— А особенно следует пристыдить Савву — такой хвастун... Я — не я, шишка! Да ещё, видать, подвыпил для шика...

— Да какой же он мой?

Сергей смеялся, а машина уже въезжала в Журавку, и сюда, на окраину села, доносились ревушие звуки оркестра.

— Поторапливай, Сергей, — сказал Тимофей Ильич, — как раз угодим на торжество.

* * *

У высоких окон со светлыми шёлковыми шторами сидели на диване Николай Петрович Кондратьев и Стефан Петрович Рагулин. Старик был в новом тёмносинем костюме, рубашка с отложным воротником, галстук серенький повязан неумело.

По совету Кондратьева Рагулин только что побывал у парикмахера — по кабинету ещё струился терпкий запах дешёвого одеколona. Щёки были гладко выбриты и слегка припудрены, усы, борода ловко подстрижены — от этого казалось, и морщины у глаз заметно разошлись, разгладились, и лицо выглядело не по годам молодожаво...

— Стефан Петрович, — говорил Кондратьев и с улыбкой смотрел на галстук Рагулина, — и кто вам так повязал эту штуку?

— Одна женщина, — неохотно ответил Рагулин.

— Наверно, жена?

— Да нет...- одна женщина — и всё.

— То-то и видно, что не мужчина. Давайте перевяжу.— И Кондратьев начал перевязывать галстук неспеша и со знанием дела. — Тут важно, чтобы конец лёг вот сюда и чтобы узел был небольшой и плотный... А почему это вы грудь не украсили наградами? Едете-то за границу. Пусть там люди без лишних слов и без переводчиков знают, кто такой Рагулин из Усть-Невинской.

— Награды в чемодане.— Стефан Петрович низко наклонил голову, коротким косым взглядом осмотрел галстук,— Так значит, к румынам поеду? Меня, Николай Петрович, одна думка беспокоит...

— Какая?

— Галстук — тоже, конечно, вещь нужная. — Старик помолчал, погладил куцую бородку, усы,— А всё ж таки важнее всего, каким таким манером себя там держать? Научи, Николай Петрович, проинструктируй... Насчёт того, как это его... приличному обхождению.

— Обхождение должно быть простое, человеческое, — сказал Кондратьев.— Пусть вас, Стефан Петрович, беспокоит не обхождение, а желание помочь румынским крестьянам строить коллективную жизнь. Советы и подсказки такого опытного в этом деле человека, как вы, им будут очень полезны.

— Посоветовать сможем. И подсказать не поскупимся.

— А главное — и за границей будьте самим собой.

— Да мне и Нецветова так наказывала, а галстук всё ж таки повязала...

— Так вот оно кто так неумело повязал галстук,— со смехом говорил Кондратьев, — Женщина, секретарь райкома, а галстук завязать не умеет!

— Торопилась, чтобы я не опоздал... Кто ж ещё от нас едет?

— Самойлова Марина Николаевна — из Журавского района.

— Знаю, женщина серьёзная, общительная... Теперь же мы с журавцами соревнуемся — кто кого. Это, видать, Сергей Тимофеевич захотел нас обогнать.

— И как думаете — журавцы обгонят?

Старик молчал, мял в кулаке бородку, закрыл глаза.

— Ездили мы делегацией в Журавку,— сказал он, не открывая глаза,— дело это закрепили на сессии... Всё у нас шло чин по чину, речи, вопросы и всё такое. А тут Тимофей Ильич Тутаринов,— мы его с делегацией не брали, он как раз гостил у сына и пришёл на собрание; да, берёт Тимофей Ильич слово и всю обедню нам испортил. Стыдить при всём народе начал, в зазнайстве обвинял, хвастунами назвал... Беда!

— А может, в словах старика Тутаринова и есть какая-нибудь доля правды? — спросил Кондратьев. — Как по-вашему, Стефан Петрович?

— Да какие ж мы хвастуны, какие мы зазнайки? Я тебе, Николай Петрович, скажу, что была у меня думка помочь журавцам.

— Чем же?

— Саженцами. У журавцев на очереди сады, а у нас — свой питомник. Ты бы посмотрел, какие у нас сливы, а какие яблоньки растут... Мичуринские! — Рагулин приоткрыл шторы, посмотрел, высоко ли солнце.— После той сессии наша делегация поехала по району. Есть, конечно, и у них приличные колхозы. К примеру, Ярьско, мужчина моих лет. Так мы с ним особо подписали договор... Да, так значит, ездили, смотрели те земли, что отведены у них под сады, и тогда я подумал: снарядить бы по весне везов пять молодых деревцев...

— Так за чем же стоит дело?

— Да за тем же старым Тутариновым. Наговорил на нас лишнее, а журавцы могут подумать, что мы грехи свои замазываем.— Старик помял в пальцах кончик галстука.— А тут ещё, Николай Петрович, беда в том, что по Журавке пошёл слух, будто я сильно скупой... Конечно, отрицать нельзя, в моей натуре это имеется, добром колхозным не сорю... Но тут весь интерес в садах. Люди разводят их там, где раньше и деревцо не росло

— дело стоящее. Можно пойти на риск! Только после той речи Тимофея Ильича как бы это...

— А вы с Самойловой об этом и договоритесь во время заграничной поездки. Время для личных бесед у вас будет.

— Я сам об этом подумал, а всё же боязно: начну разговор, а она скажет, что журавцы в помощи не нуждаются...

— А вы не сразу, а с подходом.

— Постарел я, Николай Петрович, для подходов,— Старик усмехнулся в кулак.— Когда был молодым — то подхаживал...

— И успешно? — в тон ему спросил Кондратьев.

— Всяко бывало.

— Ну, что ж, я думаю о садах вы договоритесь,— сказал Кондратьев, желая снова говорить о деле,— Боюсь, Стефан Петрович, обгонят вас журавцы по технике. У них там один Иван Афанасьевич Книга чего стоит.

— Знаю Книгу, и речь его слышал... Говорун!

— Мастер оседлать любую машину, и она у него идёт — только держись.

— А у нас тоже есть техники, может, похлеще Книги.

— На днях мы собираем краевой актив, обсудим вопрос о введении комплексной механизации,— Кондратьев взял со стола располневшую кожаную папку,— Вам на собрании актива побывать не придётся — помешает поездка к румынам. Так я вас познакомлю хотя бы в общих чертах.— Он раскрыл на коленях папку и стал листать какие-то бумаги, — В течение первых двух лет государство даёт машинно-тракторным станциям края различных видов механизмов и машин более ста пятидесяти названий. В общей сложности край получит за эти два года более семидесяти тысяч машин и сельскохозяйственных орудий. В том числе тракторов — этой «тяжёлой артиллерии» тысячи штук, да к ним столько же плугов — и пятикорпусных, и болотно-кустарниковых, и плантажных, и выкопочных, и виноградных. Одних только борон зубьевых и дисковых — 28 160 штук; луцильников и тракторных культиваторов — 4 500; кукурузных комбайнов — 1 500 штук; свекловичных комбайнов — 240; шахматно-гнездовых сеялок—1 550 штук. Вы, Стефан Петрович, природный хлебороб, и вы понимаете, какая сила стоит за этими цифрами... Я уже не говорю о таких механизмах, как электрические зерноочистительные машины, подборщики и копнителы, погрузочные элеваторы и многие другие.

— Или вот, обратите внимание... Для продажи колхозам выделяется 27 000 автопоилок и автодоилок; 2 200 веялок-сортировок, 1 500 корне-клубнемоек...

— Да, дело это для хлеборобства сильно выгодное, — задумчиво проговорил Рагулин.— Нынче нам без машин, как без рук...